

ВАЛЕНТИН СВИНИННИКОВ

## ВОЙНА, ПРОШЕДШАЯ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ...

*Вступая в год 70-летия Великой Победы (а также в год, официально объявленный Годом литературы), мы вспомним не только героев, отстоявших свободу и независимость нашего Отечества в смертельных боях, но и тех, кто, пройдя жаркие эти сражения, сумел о войне рассказать для потомков – талантливо и в высшей степени правдиво.*

Евгения Ивановича Носова, которому исполнилось бы в эти дни 90 лет, критики, привыкшие размещать писателей по различным литературным сусекам, относят то к “деревенской прозе”, то к военной литературе. И в том, и другом определении есть толика истины и много неправды. С тем же успехом его могли бы отнести и к детской литературе (где прочно обосновался другой Носов, Николай, с его “Незнайкой” и блестящей игровой популяризацией научных и житейских знаний).

Ну, какая же это военная проза, если только в двух-трёх эпизодах свернёт отзвук недавнего боя? И то в воспоминании бывалого солдата и без всякой патетики, разве что с добродушным восхищением русской смекалкой!.. Как в рассказе “Шопен, соната номер два”. Проклятый дзот с неумолкающим пулемётом преграждает пехоте путь, а высоту нужно к вечеру взять во что бы то ни стало. И с гранатами не подобраться: всё, как на ладони. Но вспомнил “солдатик, пацан пацаном”, в детстве, наверное, не доигравший в солнечных зайчиков, о “секретном оружии”. Отпросился у командира поискать кое-что в брошенной деревушке: “Если я найду то, что нужно, – даю слово, после обеда сковырнём немца”. Поверил командир: жалко ведь людей терять в бессмысленной атаке, а приказ есть приказ. И притащил парень в мешке... зеркало. “А стекло во какое, с газету! Давай, наводи,” – говорит ему командир. “Ну, и уцелил он что ни на есть в самую амбразуру... Кинулись мы все как есть, немец давай пулять, да стрельба уже не та, а куда попало. А парень ему зеркалом-то всё в рожу, в рожу! Ну, конечно там, кроме пулемётчика, и ещё были, да мы их тут быстро разделили”. Вспомнили собеседники, как на Одере вот так же прожекторами ослепляли. “Э-э, браток, на Одере когда было? А то ещё под Орлом. Оно, может, про наш случай и до генералов дошло, до самой Ставки. Ну, дак, ясное дело, у генералов вся техника в руках. А придумка, выходит, солдатская”. И много ли наберётся подобных боевых эпизодов в пяти томах сочинений Евгения Носова...

Так что же – невоенная проза? И да, и нет. Его проза – о человеке на войне. Если хотите, философская проза, но без всякого рода научных дефиниций.

Философская, поскольку о глубочайших понятиях: смысле жизни, устройении и ладе её – и терпкая, осознанно горькая, когда этот справедливый, веками сложившийся лад рушится проклятой войной. Философская, но и поэтическая, передающая тончайшие оттенки душевных переживаний. Передающая так просто, естественно, как естественна сама жизнь природы и человека в ней. Можно ли считать “военной прозой” повесть Носова “Усвятские щлемоносцы”, если рассказывается в ней всего лишь о том, как собирались на войну в первые же её дни куряне из окрестных деревень: кто добровольцем, кто по призыву. Обычные крестьяне, тогда – колхозники, с простыми именами, которые были даны по святцам: Касьян, Давыдко, дедушко Селиван, Прохор, ну, и Дмитрий, Матвей, Никита, Алексей, Иван... Казалось, ограниченные люди: “весь мир, вся Касьянова вселенная, где он обитал и никогда не испытывал тесноты и скуки, почитай, описывалась горизонтом с полдюжиной деревень в этом круге”. Дальше Муром не бывал он даже во время трёхлетней службы в армии. Запомнилась тогда только дорога, “особенно обратная, когда не терпелось поскорее попасть домой, а поезд всё не спешил, подолгу стоял на каких-то полустанках, потом опять принимался постукивать колесами, и окрест, в обе стороны от полотна простирались пашни и деревеньки... Тогда-то и запало Касьяну, что нет ей конца и краю, русской земле”.

... Читал эти строки и вспоминал свои детские грёзы. Небольшая станция на Транссибе, загораешь летом на слиянии двух таёжных речушек – Амазар и Могоча, – посматриваешь на железнодорожный мост, по которому проносятся в ту и в другую сторону поезда, выглядывают из приоткрытых окон какие-то люди, завидуешь им: увидят что-то другое, кроме тайги, сопок. Знал из книжек, что есть другие, диковинные края, но... как поверить? А потом, объехав и облетав журналом всю огромную страну вдоль и поперёк, от Чопа и Бреста на западе до Камчатки, от границы с Турцией на юге до Архангельска и Соловков, смело ввязывался в споры с японскими или китайскими коллегами: вы-то где были, когда мои предки за какое-то столетие прошли одиннадцать тысяч вёрст до Великого или Тихого океана? Одним всего лишь реку перейти, Аргунь или Амур, другим – несколько километров пролива. А пойдёшь ты, открывали и обживали те далёкие места мои предки-казаки. По сути, те же крестьяне, от земли живущие, но ещё и оружием владевшие мастерами...

Усвятцы, даже и не знавшие всего масштаба великой нашей страны, удивлялись искренне: да как же Гитлер с его крохотной, судя по карте, Германией мог покуситься на такую огромную державу? Тяжело было, дожидаясь повестки или ухода добровольцем, обрывать привычные связи с пашней, с родителями, с жёнами и детишками. Но всё крепло и крепло чувство, что именно это, всё, что зовётся родной землёй, и требуется ныне защищать. А дедушко Селиван, который, наконец, достал свой заслуженный в первой мировой войне и запрятанный от новых властей георгиевский крест, по церковной книжке объяснял каждому, что значит его имя. Получалось: Касьян – “Шлемоносец”, а привычный Лёха, Алексей – “Заступник Отечества, всех страждущих, слабых и малолетних, всех человек и тварей Божиих”; про Зяблова говорил: “Никола, стало быть, так: “Победитель!” Во как!” И про Афоню-кузнеца выходило – “Не боящийся смерти!” И уже как-то иначе глядели мужики на обширные Афонины плечи, на вросшую в них сухожильными кореньями быковатую шею. Кто ж его знает, может, его и взаправду никакая поруха не возьмёт”.

Выходило по той старинной книге, что все, про кого бы тут ни зачитывали, могли и должны быть под шлемом, защищать Отечество. Но и раздумье подступало к Касьяну (и только ли к нему): “Там ведь того... убивать придётся...” И рассказал дедко Селиван, каково это – своими руками отнимать жизнь, пусть и у врага. Никола Зяблов обернулся к Афоне-кузнецу:

– По мне не умирать – убивать страшно. Али сам не такой?

Афоня-кузнец тяжело повёл опущенной головой и, не глядя на Николу, глухо проговорил:

– Россия вон гинет... Немец идёт, душегубничает, малых детей не щадит...

– Ну, дак кто ж про то не думает? – потупился Зяблов. – Уж и думки за думки зашли. Завтра вот сберёмся и пойдём”.

И пошли, шлемоносцы. С высокого верху видно стало самим, как стяги-

ваются по другим просёлкам мужики из соседних, ближних и дальних деревень. А другой больше армии нету, внушал дедко Селиван уходящему на фронт с тяжёлой от запоя головой Кузьме. Тот возражает:

— Чего это за армия? Капля с мокрого носу.

— Э-э, малый! — задрезжал несогласным смешком дедушко Селиван. — Снег, братка, тоже по капле тает, а половодье собирается. Нас тут капля, да глянть туды, за речку, видишь, народишко по столбам идёт? Вот и другая капля. Да эвон впереди, дивись-ка, мосток переходят, — третья. Да уже николевские прошли, разметнинские... Это, считай, по здешним дорогам. А и по другим путям, которые нам с тобой не видны, поди, тоже идут, а? По всей матушке-земле нашей! Вот тебе и полая вода. Вот и главная армия!”

Сказано проще некуда, а слышится колокол набатный. Главная армия поднялась — народ. Крестьянский в большинстве. Сколько передумал сам я позднее, когда составлял один из томов 12-томной антологии “Венок славы” — о Великой Отечественной войне от первого дня до последнего в лучших художественных произведениях и документах. Отбирал, уже крепко, по-сыновьему подружившись с писателями-фронтовиками, отдавая дань своего поколения, мальчишек военных лет, отцам и старшим братьям, сокрушившим фашизм. И крепло убеждение, что воевала, в основном, именно глубинная Россия, из деревень и небольших посёлков. Рабочих-то квалифицированных “бронировали”, чтобы в тылу ковать оружие Победы. Правда, не забыть и подвиг народного ополчения из столиц, да и других крупных городов, как в Сталинграде, где тракторный завод готовил танки, и часто рабочие сами вели их в бой. Некоторые ополченские дивизии уже и в сорок первом получили по праву звание гвардейских... Но из песни слова не выкинешь: главная армия — из таких вот *усвятских шлемоносцев*.

Врезается в память и сцена, когда прибывший на мобилизацию офицер зачитывает по списку фамилии призванных... Сколько потом этих простых фамилий осталось на обелисках, на братских могилах. А ведь ещё в рассказе “Шопен, соната номер два” раскрывает Носов простую и скорбную мысль: за каждой из этих фамилий (а то и двух-трёх одинаковых с разными инициалами, где легко угадываются родственные связи) — человек с единственной, неповторимой душой, своей, чаще всего, очень короткой судьбой. Воевали-то, в большинстве своём, люди молодые. Я впервые через повесть “Пастух и пастушка” Астафьева, печатавшуюся в “Нашем современнике”, уяснил, что была — и имела право быть на войне! — любовь земная, чистая и возвышенная (разве могло быть по-другому, если в каждую минуту — “до смерти четыре шага!”). Евгений Носов открыл и другую сторону этого глубочайшего вселенского чувства — любви не как просто плотского влечения, а как строительства новой жизни, через детей и внуков ведущей в бесконечность. И какие же уходящие веером в пустоту просеки вырубил проклятая война в человечестве...

Творчество Евгения Носова тревожит, будит бессонную память. Практически в каждом его рассказе или повести вспыхивает память о войне. Вот и в лирической повести “Шумит луговая овсяница” городской посланец, по призыву партии возглавивший колхоз, полюбил Анфису, деревенскую женщину, в одиночестве воспитывающую малолетнего сына. Женщину, так естественно вросшую в сельскую жизнь и так поэтически воспринимающую родную природу, словно о ней писал Николай Рубцов: “О сельские виды, о дивное счастье родиться // в лугах, словно Ангел, под куполом синих небес”. Бережно-бережно, тончайшими штрихами выписывает Евгений Носов зарождение и расцвет этой любви.

Евгения Ивановича справедливо числят и в обойме выдающихся “деревенщиков”, которые начинали печататься в “Новом мире” у Александра Твардовского и которых “переманил” Сергей Викулов в “Наш современник”. Он солил в литературе рядом с Фёдором Абрамовым, Виктором Астафьевым, Василием Беловым, Борисом Можаяевым, Владимиром Солоухиным, Валентином Распутиным. Именно Викулов поднял вырванное чинушами из рук Твардовского знамя глубочайшей народной правды. Носов долгие годы был членом редколлегии “Нашего современника”, здесь впервые увидели свет лучшие его произведения.

Но ведь и само определение “деревенская проза” — от лукавого. Так можно отнести сюда и Льва Толстого, и Ивана Тургенева, и, конечно, Ивана Бунина, не говоря уже об Аксакове и других классиках. Только ларчик-то просто

открывается! Кто может передать более точно полные, глубокие и тонкие связи человека с огромным миром природы? Бесспорно, человек, выросший в этом мире и не забывающий о нём “в неволе душных городов” или хотя бы тесно соприкоснувшийся с ним, особенно в детские годы. И философское (другими словами, общечеловеческое) содержание в трудах именно писателей “от земли” очень естественно. Крестьянину, даже если он не держал в руках умных книг, приходилось быть, по сути, поневоле энциклопедистом в мире знаний о Природе. Не постигнешь, на своём ли опыте или на опыте предков, законов Природы, не угадаешь со сроками и особенностями сева, состояния почвы и погоды – и оставишь голодной семью. А семья в деревне – не то, что в городе: надёжная опора, полнота радости бытия, укоренённости в обществе и через это – в человечестве.

Евгений Иванович Носов в этом смысле такой же классик русской литературы, как самые высокие имена. Не верите? Хотите провести эксперимент: на выборку предложите друзьям несколько описаний природы или повадок птиц, зверей, рыб – и пусть попробуют угадать: где Толстой или Тургенев, а где – Евгений Носов.

Не вписывается ни в какие рамки носовская повесть “Моя Джомолунгма”. Относят, правда, к детской литературе – для старшего возраста. Явно не “деревенская проза” – жизнь обитателей городского дома, превращённого в коммуналку, обросшего всяческими пристройками, малыми огородами. Но какой же в повести величавый символ стремления к высоте и в то же время укоренённости в родной земле! И обжигающая память о недавней войне, о мужестве солдата, оставшегося без ног, но сумевшего стать наравне со всеми и духовно быть выше тех “прыщей”, кто мог себе позволить свысока смотреть на “колясочника”.

Память о войне осталась и в высоко простёршейся ветви тополя, которую мальчишка, герой повести, про себя так и называл: “Осколочной”. Он и ногу-то сломал, упав с этой ветви зимой. Когда навестившая его подруга, по сути, – первая любовь, спросила, зачем же он зимой на тополь полез, он “отбросил подушку, отвернул матрац и выгреб на одеяло кучу рваного бесформенного железа.

- Что это? – не понимает Тоня.
- Осколки.
- Столько много?
- Ещё не все. Там осталось больше.

Тоня боязливо протягивает руку. Я понимаю её неприязнь. От этих ржавых уродливых кусков и до сих пор веет ощутимым холодком смерти. Они такими останутся навсегда. И через сто, и через двести лет. Как тевтонский меч, найденный под Псковом. На него глядишь так же неприязненно, сколько бы не прошло времени. Эти ржавые куски железа ни на что не похожи. Ни на какие другие предметы. Они ничего другого не напоминают, кроме того, что должны напоминать...

У Носова дальше потрясающие строки:

“– Старые занозы войны, – грустно говорит Тоня. Я знаю, она сейчас думает о своём отце. Он долго носил в себе осколок. Возле самого сердца. Но потом не выдержал... – Бедное дерево, – говорит Тоня. – Как оно ещё живо!

– Борется, как умеет.

Я взял из кучи большой, с мою ладонь, осколок.

– Вот этот был затянут толстым, мозолистым наростом. Тополь не мог от них избавиться, и он старался их изолировать. Но некоторые ветви уже начинают сохнуть. Я хотел вырубить до весны всё, пока дерево ещё не проснулось...”

Мне в этом видится не просто стремление мальчишки помочь тополю, ставшему для него символом стремления к высоте, но самой родной Природе. Верю: прочтает об этом подросток – и не загубит потом ни деревца, ни кустика, не зажжёт бездумно костёр в лесу...

Мальчишку с ногой в гипсе навестил и один из соседей, безногий Иван Воскобойников. Поднялся на второй этаж по узенькой лесенке без коляски. Смотрел на гипс молча, нахмурился.

“– Знакомая штука, – сказал Иван. – Нагляделся. Но ты не смущайся. Через два месяца опять будешь гонять. Сейчас костоправы хорошие. За войну научились. Если весь гипс, в который люди были замурованы, свалить

в кучу — Казбек получится. Дорого эта наука обошлась... Мне-то в этой глине лежать не пришлось. А лежал со мной один лётчик-таранщик. Так на нём — пуда два. И грудь до пояса. Посмотришь со стороны — не человек, каменная мумия. Один нос да кончики пальцев торчали. Думали, не вылезти ему из этой скорлупы. Вылез! Тогда вылезали. Кажется: ну, совсем сломали человека, не собрать. А он опять свинчивался. Время, брат, такое было! Обмобилизованное до последнего нерва. Медицина только ахала. Да и не только медицина... Весь мир ахал”.

Врезались в память мальчишки (и, думаю, любого, прочитавшего эту короткую, но мощную повесть) и такие слова солдата:

“— Я ведь когда-то тоже в школе, как и ты, изучал человека, — сказал он, усмехнувшись. — Зубрили всякие позвонки, внутренности. Разбирали всего по косточкам. Малая берцовая, большая берцовая... Всего обшарили на макете. Чёрта с два! Разве из этого состоит человек! Он, брат, из чего-то другого.

Иван сидел передо мной, как птица, жилистыми пальцами обхватив края стула, и я, размышляя над его словами, вдруг поразился остроте его мысли: в нём самом не осталось ни большой, ни малой берцовой, а человек в нём остался”.

Вот такая война в книге для детей старшего возраста... И ведь не Эверестом окрестил мальчишка тополь своего двора — Джомолунгмой. Отзвук далёкого и загадочного Востока — не то, что обычная фамилия англичанина-исследователя. Мальчишка искал и осмысливал свой путь к высокому небу, к высотам человеческого духа.

И сколько же любви к людям, понимания их силы, как у безногого солдата Ивана Воскобойникова, или слабостей, как у дворника Никифора, которого во время запоя подменяла его верная бессловесная супруга! И какое мастерское владение словом! Знаете, кто лучше всего понимает и ценит это высокое искусство? Те, кто сам прошёл войну, уцелел (какие-нибудь пять-десять процентов от поколения призывного возраста), чтобы Богом данный талант использовать в главном своём предназначении: рассказать правду, только правду, ничего, кроме правды, о своих товарищах-побратимах...

“Евгений Носов, — в оценке Ю. Бондарева, — один из самых талантливых наших стилистов. Современный русский литературный язык с его безграничной ёмкостью, мужественной строгостью и застенчивой нежностью сверкает в его книгах, подобно драгоценному камню, отшлифованному мастером... Читать его — истинное наслаждение и вместе незабываемое путешествие в глубокий и искренний мир его жизненного опыта и чувств, вобравших в себя и трагедию, и красоту человека”.

О том, как требовательно относились к работе над словом писатели-фронтовики, не умевшие, как некие “молодые таланты”, ногой открывать двери в кабинеты литературных начальников, писал в “Зрячем посохе” Виктор Астафьев, с которым Носов сдружился на Высших литературных курсах. Если Женя Носов прочёл и одобрил рукопись, считал Астафьев, значит можно смело нести в любой журнал или издательство. Они друг друга не щадили в строгих оценках. Но как же был важен такой “взгляд со стороны”, а по сути — из самой глубины военного опыта!

А вот отзыв критика из моего поколения, кому не довелось самому воевать, но так хотелось постигнуть правду о войне не из барабанно-пропагандистских, газетно-штампованных творений, коих немало появилось по горячим следам, пока сосредотачивались и учились сами фронтовики. “Каждое слово, положенное Е. Носовым на бумагу, проникнуто этим едва улавливаемым, застенчиво-стеснительным, трепетно-нежным, целомудренно-тихим чувством, названным Л. Толстым *скрытой теплотой патриотизма*. В рамках носовского рассказа, лишённого сюжетной жёсткости, законченности и внешней композиционной строгости, жизнь получает как бы дополнительную упорядоченность и свободу для самовыражения; она словно переносится из реальности в произведение с самими корнями и почвой, их питающей... Такая проза рождается из большой любви к окружающему, из глубокого уважения суверенных прав и законов действительности. Едва оконтуренная сюжетно, она находится словно бы на грани собственно искусства и живой жизни, не соскальзывая ни в поэзию для поэзии, ни в голый натурализм и мелкотравчатость, а сохраняя то внутреннее достоинство стати, которое согласуется с естественным жизненным правдой и эстетической природой слова. Не будет преувеличением сказать:

проза Е. Носова просится в хрестоматийные образцы для изучения вопроса о том, что такое *подлинная художественная литература*” (В. Васильев).

Среди многих своих встреч с Евгением Носовым запомнил я на всю жизнь поездку к нему в Курск вместе с Виктором Астафьевым и Анатолием Заболоцким (прекрасным фотомастером и кинооператором, работавшим с Василием Шукшиным в блистательных фильмах) на машине Анатолия. 1989 год. Астафьеву только что вручили Звезду Героя Социалистического Труда (на год раньше, чем Носову). Я ещё работал в “Нашем современнике”, но предствлял решающий разговор с Мазуровым (бывшим членом Политбюро, возглавлявшим на пенсии Всесоюзный совет ветеранов, к которому меня “сватали” главным редактором газеты “Ветеран”). И я просил, чтобы не начинали в Курске намеченную программу: “Догоню вас в поезде”. А Носов обещал показать и открытый срез пласта знаменитого чернозёма и побывать на родине другого писателя-фронтовика из курян – Константина Воробьёва. Ночной звонок порученца Мазурова – Дмитрий Трофимович в больнице (встречаться и работать позднее довелось уже с маршалом Николаем Васильевичем Огарковым). И вот мы едем из Москвы в Курск, местами, запомнившимися Астафьеву с тех пор, как он почти мальчишкой ехал на фронт... Поздним вечером у самого Курска Анатолий проскоил какой-то знак. Остановил гаишник. Пришлось просить Астафьева выйти из машины, не скрывая геройской звезды. Юный гаишник оторопел (наверное, смотрел вчерашние новости по ТВ), отвёл меня в сторонку: “Не торопитесь уезжать, я доложу старшему, он же мне не простит, если сам не увидит живого писателя-героя...” В Курске уже затемно остановили первого попавшего прохожего, чтобы спросить, как проехать по указанному адресу. К изумлению, это оказался... темнокожий студент местного вуза. Как мальчишки, хохотали оба друга-фронтовика при встрече: “Первый встречный в Курске, в самой серёдке земли русской, – негр!...”

А потом за скатертью-самобранкой на одном из холмов, где и виден был срез чернозёма, знаменитого русского, того, что гитлеровцы эшелонами пытались вывозить в Германию, Виктор и Евгений затеяли нешуточное соревнование: кто больше знает названий цветов и трав. Кажется, победил Носов: он-то знал их более трехсот. Я мог только остро завидовать: вот оно, богатство родной речи, которое мне, в Забайкалье, на вечной мерзлоте выросшему, было недоступно. Зато когда зашёл разговор о рыбалке (а кто не читал астафьевской “Царь-рыбы?”), одолевал Виктор Петрович. И опять чисто мальчишеский хохот: вспомнили, как однажды спорили, где рыбачить лучше. Астафьев показывал: “Во какие у нас таймени! А что ваши рыбёшки?...” Носов, рассердившись, тут же забросил удочку... на луг, где паслись дородные гуси. Здоровенного гусака, клюнувшего на необычную приманку, пришлось пустить на “уху”. Я ещё спросил, как поладили с хозяевами такой добычи. Евгений Иванович махнул рукой: “Договорились – мы же русские люди”... Думалось тогда, что настоящий писатель всегда остаётся в какой-то мере ребёнком, хранит в себе чувства и память светлейших лет детства. Рассказ Носова для детей, при всей “взрослой” глубине содержания, несут этот отпечаток...

Съездили мы и к Косте, как по-свойски называл Носов Воробьёва, кремлёвского курсанта, насмерть стоявшего под Москвой в 1941-м, без сознания попавшего в плен и трижды (!) пытавшегося сбежать, воевавшего затем в партизанском отряде. В “Нашем современнике” печатались несколько его повестей, в том числе и последняя – “Это мы, Господи...”, – рукопись которой пролежала два десятка лет в “Новом мире” без движения, конечно, уже не во времена Твардовского. Евгений Иванович с горечью говорил об этом, как и о том, что тогдашние курские кинодралы не допустили возвращения Константина Воробьёва на “малую Родину”. Где им было понять, что по-разному попадали в плен и вели себя в плену наши воины... А деревня, где сохранился дом Константина Воробьёва, всего-то в двух десятках километров от Толмачёва, родного села Носова, где отец его был кузнецом. Не случайно же Евгений Иванович работу земляка над словом сравнил с трудом кузнеца: “Константин Воробьёв любил работать в горячем цехе, со словом, которое только что из пламени пылающего воображения. Оно ещё дышит жаром, стреляет колкими искрами, обжигает самого мастера, и тот, благоговей над ним, испепеляющим, непокорным и прекрасным, размашисто, пока ещё не остыло, гранит его на звонкой наковальне. Я представляю, каким усталым, измотанным, весь в ссадинах и ожогах отходил он от своего горнила. Это было по-

истине Прометеево искусство. Да, собственно, на этом огне он и сгорел преждевременно, так и не дочеканив заветных своих страниц". Так ведь это и о самом Носове, как и другие его слова о друге: "В своих книгах он... рождается и погибает вместе с героем, испытывает мучительную боль за человека в дни его бед и тихую гордость за него в пору их преодолений".

Настоящие фронтовики, окопники, не любят рассказывать о боях-пожарищах, оставляя это журналистам. О том, что Евгений Носов был артиллеристом и часто "работал на прямой наводке", я узнал случайно, прочтя его письмо другому автору "Нашего современника", члену редколлегии Ивану Васильеву. Было это в Усть-Держе, в тверских лесах подо Ржевом, где Иван Васильев показывал мне даже линию окопов. Он задумал тогда создать "Фронтovou землянку" – своеобразную библиотеку писателей-фронтовиков, с их автографами и краткими письмами. А потом с тяжким чувством вспоминаю я, как однажды мы с Носовым, будучи в Тарханах, на родине Лермонтова, засиделись и заговорились допоздна. Утром Евгений Иванович идёт в душу, а я с ужасом увидел на его могучей спине шрам, куда запросто мог войти мой кулак. Он перехватил мой взгляд и вдруг стал рассказывать, как выбивали на войне оружейные расчёты. Болванкой в маленький щиток орудия попасть трудно – били шрапнелью, выкашивая расчёты сзади. Нередко после боя расчёт приходилось обновлять почти полностью. А у меня тогда сумбур в голове: неужели он подумал, будто я мог подумать, что он "показал тыл" врагу...

Скромнейший и мужественный человек! Его рассказ "Красное вино победы" – самое необычное произведение, которое довелось мне читать об этом дне. Даже прекрасный фильм, снятый по этому рассказу, не передаёт (для меня) всей полноты ликования и скорби, земных и высоких чувств воинов, для которых война завершилась в госпитале. Закованные в гипсы, – кто больше, кто меньше, – они полны счастья и надежд. Даже Копёшкин, солдатик из пензенской деревни. Копёшкин, который уже никогда не увидит своей деревеньки Сухой Житень, своего дома с деревцем, которое он просил пририсовать, с домиком-скворешником. Рядовая смерть рядового солдата Великой войны в день Великой Победы в госпитале... Сколько же глубоких чувств и размышлений о смысле жизни и смерти вызывает она у автора и у читателей! Это классика о войне – без преувеличения можно сказать...

Так ведь и "Шопен, соната номер два" – не просто репортаж об открытии обелиска – одного из тысяч на многострадальной нашей земле. Молодые парни из оркестра, приглашённого на торжественное это событие, – обыкновенные, привычные к заработкам на похоронах очередных "жмуриков", – не сразу смогли понять своего "старшего": он отпустил машину, на которой они приехали, отпустил, чтобы развезти по ближайшим деревням фронтовиков, в кои-то веки собравшихся вместе поговорить, повспоминать былое, помянуть павших из того скорбного списка на обелиске. Парням пришлось месить грязь просёлочных дорог под дождём, радоваться теплу дома, где их приютили на ночь, тем более что набрались в просторную избу и любопытные девчата (студентки на уборке урожая), которые не прочь были потанцевать. А в этом доме четверо не вернулись с войны, и даже могилки их не навесить – невесть где полегли, одного до сих пор ожидает старая мать: похоронки-то не было, без вести пропал... И "старшой" дядя Саша, сам опалённый былой войной, велит ребятам играть: "Шопен... Соната... Номер два"... Что сдвинулось потом в душе у каждого – додумает про себя любой читатель.

Высочайшее мастерство психологического рассказчика Носова в этом рассказе, полифоническом, передавшем и суховатые дежурные речи на открытии, и простой, по-народному образный язык самих фронтовиков, и раздумья дяди Саши Полосухи, и озорные реплики современной молодёжи, достигает такой вершины, когда и объяснять ничего не надо:

"Вышла и ещё женщина, видно, из колхозниц – в зимней суконной шапке, с заветренным лицом. За ней побежал было мальчик лет шести, но на него зацыкали, потянулось сразу несколько рук: "Нельзя, нельзя туда! Ты что ж это?" Однако мальчонка увернулся, прошмыгнул-таки к памятнику и стал рядом с женщиной, упрямо набычась <...>. А женщина, не замечая парнишку и ещё не произнеся ни слова, сразу побледнела лицом, как только оказалась у памятника, и лишь потом выкрикнула высоким запальчивым голосом:

– Я вам так скажу, товарищи: моих полегло двое. А я хоть и живая, а тоже поранетая на всю жисть...

И вдруг закрылась руками, грубыми, негнушимися пальцами, какие бы вают от бурака и стылой осенней земли.

Постояв так в сдавленной немоте перед притихшим народом, она, наконец, отняла руки, ожесточенно оглядела толпу, ища внутри себя те слова, которыми хотела выразить свою старую боль, и, не сумев найти таких слов, вдруг подхватила мальчика, подняла под мышки и, повернув его к обелиску, выкрикнула в полуплаче:

— Смотри, Витька! И запомни! Вот она такая, война!..”

“Такая война”, в глубинном понимании и переживании “самого простого” — и далеко не простого народа нашего, светит практически в любом произведении Евгения Носова. Иногда пронзает абсолютно неожиданным поворотом сюжета. Как в повести “И уплывают пароходы, и остаются берега”, когда современные, вполне беззаботные туристы во время неожиданной стоянки затеяли “выход на природу” — на моторке местного жителя онежских островов Савони. Всё обычно, буднично, с флиртом и интрижками, с фуршетом у костра и нечаянно подпалённым Савоней. И вдруг... Когда кинулись лечить его обожжённую ногу, выяснилось, что это — протез, следствие той, многими молодыми и неизвестной, далёкой войны. Протезу — не больно. Мне, читателю, больно, когда один из туристов бросает на прощание Савоне спортивные штаны и сообщает: в кармане трёшка, за услугу... И уплывают пароходы, а берега — та самая корневая Россия, главная армия страны — остаются...

Всё творчество Евгения Носова — о народе-труженике, народе неодолимом, когда ему приходится браться за оружие, чтобы защитить родную землю и жизненные устои, на которых она стоит веками. Вроде бы совсем не героичны его герои — хоть на войне, хоть в тылу. Ну, что особенного во фронтовом кашеваре или вознице из рассказа “Переправа”, в армейском обозе прошедшем на верблюде (!) от Сталинграда до нашей западной границы? Или во вдове, поставившей на ноги всех своих ребятишек, в рано повзрослевшем мальчишке, — а что делать, если мужиков в колхозе почти не осталось? Видятся в его повестях и рассказах самые обыкновенные русские люди в обычных житейских конфликтах, а встаёт за ними глубинная народная жизнь в неброской красоте и силе самой своей социально-нравственной сути. Всё просто — и глубоко, как... в обыкновенной классике.

Но и “деревенщиком” числят Евгения Ивановича неспроста. Любимые, по-настоящему любимые его герои — коренные, приросшие к родной земле жители села, живущие внешне непритворной, но исполненной поэзии, красоты и труда жизнью. Нет, не приукрашивает нашу действительность писатель-фронтвик, призванный писать правду, только правду. В его книгах немало и “межеумочных персонажей, потерявших себя и поддерживающих своё существование “искусственным питанием””: это и мечтающий о славе Корбюзье архитектор Сараев с его снобистски-сторонним отношением к окружающему — деревенские хаты напоминали ему “сумрачных мужиков с полотен передвижников” (“Храм Афродиты”); и совершенно оторванный от жизни Стремухов, словно в порядке саморазоблачения разъезжающий по городам и весям с лекцией “Есть ли жизнь на других планетах?”; и сапрыковский Игнат, обосновавшийся “промеж городом и селом” (“Потрава”); и туристы из повести “И уплывают пароходы, и остаются берега”... (В. Васильев). Но не им отдано большое, любящее сердце Евгения Носова, а людям цельным в устремлениях своих, в слиянии с Божьим миром, миром Природы.

Цельность и его собственного характера и мировоззрения проявляется в особом отношении к природе, к животным и птицам как к равным нам Божиим существам, “единопланетянам”. Потрясающий его рассказ “Белый гусь” — о подвиге удивительного гусака, под смертельным градом уберегшего своими крыльями жёлтенькие беззащитные комочки утят... Евгений Иванович и величает его Белым с большой буквы, словно павшего в бою товарища... В память о поэте Александре Яшине, написавшем стих-призыв “Покормите птиц зимой...”, Носов смастерил кормушку и вывесил её за окном; само стихотворение размножил и расклеил на видных местах на своей улице. “Недели через две отправился посмотреть окрест, как воздействовал Яшинский призыв. Нигде ничего, ни одной кормушки! Тогда он сел за письменный стол и написал один из последних своих рассказов-поминаний “Покормите птиц”. Песню о русской корове назвал один из критиков рассказ Носова “Пятый день осенней выставки”. На самом деле это рассказ о русской крестьянке Анисье, кото-



рая, увидав, как пастух пинал тихую безрогую корову Ладу, сдаваемую на мясо, сжалась и отняла её у пастуха. “Уж и походила она за ней, как за сиротинкой бездомной... ну, и повеселела коровка, в один год выладнялась... и грязь не стала к ней липнуть, как раньше... да и сама вроде бы сделалась выше и легче, будто на каблучках стала ходить...” И попали Анисья с Ладой на областную выставку: “А теперь вот породой интересуются. А порода всё одна: рукама выхоженная”.

И рассказ “Варька” не только о первой любви молодой крестьянки к цыганёнку Сашке, но – о любви ко всему существу... Когда она, ещё школьницей, услышала однажды из стоявшей машины какой-то жалобный писк и увидела, заглянув в кузов, как “в решетчатых ящиках копошились черноглазые, похожие на пуховички вербы, утята”, то “загорелась Варька счастливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикатила на птичник”. И потом все летние каникулы она убежала из дома на птичник. Понятно, что сказала в этом её поэтическая (как и у Анфиски из повести “Шумит луговая овсяница”) натура. Прислушиваясь по вечерам к лугам, “именно в эти минуты прихода ночи Варька испытывала наибольшую близость и своё слияние с простой и ничем не приметной круговиной земли, простиравшейся вокруг неё. Она чувствовала себя тоже раскованной и отпущенной на волю, и в такую пору луга всегда манили её куда-то. Они манили её своей новой незнакомостью, когда даже стог, много раз виденный днём, вдруг неузнанно выплывал из темноты и воспринимался с удивлением и лёгким испугом, манили своей таинственной оборванностью тропинок, которые, казалось, были протоптаны не просто к балагану... а вели к неразгаданному и где-то совсем близко заплутавшему счастью, заставляя чутко прислушиваться и держать настороже своё тихо и радостно бодрствующее сердце, учащённое острым ощущением бытия”. Она и цыганка Сашку полюбила именно потому, что прониклась жалостью к “его неприкаянному и равнодушно-покорному виду”.

Цельность собственной природы Евгения Носова явлена всей его жизнью. И биография его проста и обыкновенна. Родился 15 января 1925 года в семье кузнеца. Успел окончить до войны 8 классов. Пережил 16-летним юношей недолгую фашистскую оккупацию, после победы на Курской дуге ушёл на фронт, стал наводчиком орудия, участвовал в знаменитой операции “Багратион” в Белоруссии, в боях на Рогачёвском плацдарме за Днепром, в освобождении Польши. Тяжело ранен был под Кёнигсбергом 8 февраля 1945 года и день Победы встречал в госпитале в Серпухове. Получил пособие по инвалидности, но сумел и среднюю школу окончить, и поработать художником, оформителем, литературным сотрудником в газетах Казахстана, Средней Азии, в родном Курске. Сдав экстерном экзамены за среднюю школу, он вслед за будущей женой Валей Ульяновой, окончившей техникум советской торговли и получившей направление на работу в Казахстан, уехал в город Талды-Курган. В областной газете “Семиреченская правда” начал работу художником-оформителем (рисовать умел с детства и любовь к живописи пронёс через всю жизнь), но вскоре уже стал специальным корреспондентом, заведующим отделом. Вернувшись в родной Курск, работал в редакции газеты “Молодая гвардия”, заведовал разными отделами, но, чтобы выкроить время для творчества, вернулся к профессии художника-оформителя. После выхода в свет первого его сборника очерков и рассказов “На рыбачьей тропе” (1958) участвовал во Всероссийском семинаре в Ленинграде, был принят в Союз писателей. А потом – ВЛК в Москве, публикации в “Новом мире” и “Нашем современнике”, и книги, вошедшие в золотой фонд современной русской прозы.

С Курском связана почти вся его жизнь. Здесь он и умер 13 июня 2002 года, и похоронен, здесь и памятник ему, почётному гражданину Курска, установлен.

Отмечен Евгений Иванович Носов и званием Героя Социалистического Труда, двумя орденами Ленина, двумя орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды и Знак Почёта, медалями, среди которых особенно дорогая для солдата медаль “За отвагу”. Среди многих его литературных премий – Государственная премия РСФСР имени М. Горького, Международная премия имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства, премия имени А. П. Платонова “Умное сердце”, премия Александра Солженицына с формулировкой: тем, “...чьи произведения в полновесной правде явили трагическое начало Великой Отечественной войны, её ход, её последствия для русской деревни и позднюю горечь пренебрежённых ветеранов”.